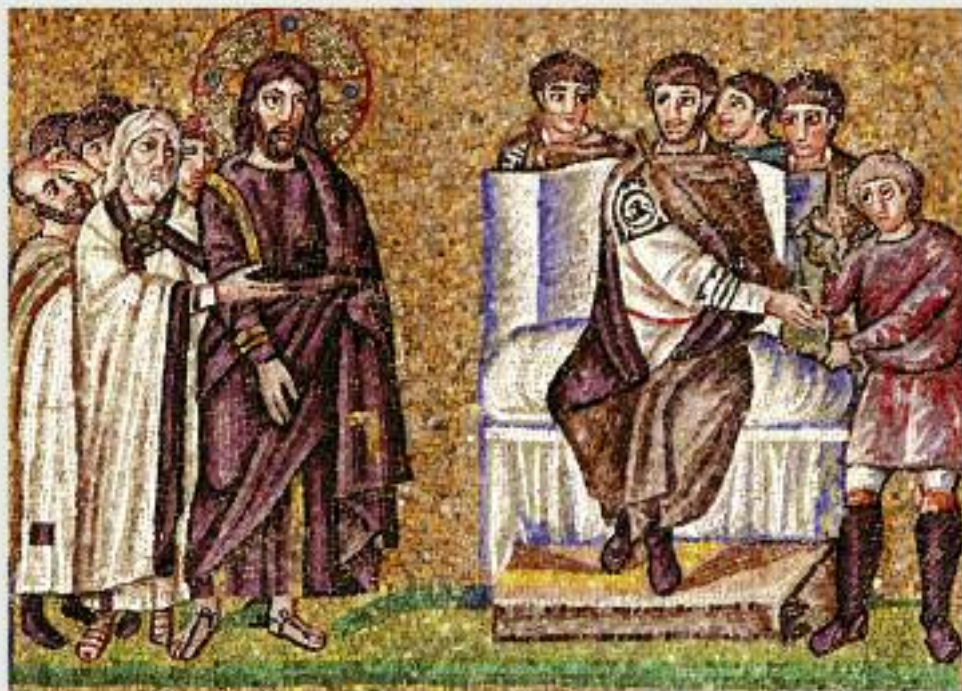




Христос перед Пилатом. Мозаика 520-х годов из равеннской базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе

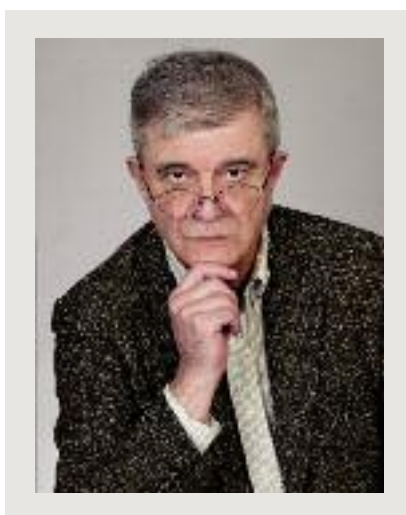
Нужно было научиться труднейшему: не просто воздавать Богу Богово и, параллельно, кесарю кесарево, а так, чтобы при этом не заменять Бога кесарем, а кесаря собой – в отредактированной версии стояния Иисуса перед Пилатом, где римский прокуратор видит уже не молодого мечтателя и чудака, а соперника, способного при случае отлучить его и унижить хождением в Каноссу

ХРИСТИАНСТВО И ПОЛИТИКА

К истории католического воцерковления Бога

То, что христианство, едва выйдя из катакомб и упав во власть, быстро и энергично начало осваивать политические техники и технологии, было столь же неизбежно в текучей логике момента, сколь и пагубно в перспективе уже ближайшего будущего. Нужно было научиться труднейшему: не просто воздавать Богу Богово и, параллельно, кесарю кесарево, а так, чтобы при этом не заменять Бога кесарем, а кесаря собой – в отредактированной версии стояния Иисуса перед Пилатом, где римский прокуратор видит уже не молодого мечтателя и чудака, а соперника, способного при случае отлучить его и унижить хождением в Каноссу. Поздний ницшевский гибрид «римского цезаря с душой

1



Карен Араевич Свасьян – доктор философских наук, с 1993 года живёт в Швейцарии, где занимается лекторской и издательской деятельностью при Forum für Geisteswissenschaft Zürich, автор многочисленных книг на русском и немецком языках

Христа» дополняется здесь фигурой Vicarius Filii Dei (наместника Сына Божьего) в цифровой транскрипции трёх шестёрок. Ещё раз: случилось то, что, с одной стороны, не должно было случиться, а с другой, не могло не случиться, и от этого парадокса, сообщающего ей невыносимую двойственность, Римская церковь так и не смогла оправиться за всё время своего существования. Первым знаком и сигналом перемен стало её обособление на фоне прочих церквей и наделение ею себя статусом исключительности, легитимность которого она будет обеспечивать уже задним числом легендой о так называемом Константиновом даре. В богословском отношении значимость Рима была ничтожна до такой степени, что отсутствие римского епископа на Никейском соборе в 325 году вообще осталось

незамеченным. Тем заметнее проявлялся его административный талант: способность к аппаратным играм, в которых юрист всегда одерживал верх над гностиком и решал в конце концов сам, что можно и чего нельзя знать. «Здесь царили не мечтательство и произвол, – замечает Гарнак, – а порядок, послушание и повиновение; всякий элемент энтузиазма казался изгнанным. Христианская община Рима, хотя она и была греческой общиной, приняла в себя уже характерные черты римлян и ощущала себя общиной столицы мира». Сила и суть Римской церкви лежали не в экзегезе, а в умении выбирать единственно нужные толкования среди множества прочих и так, камень за камнем, выстраивать несокрушимую твердыню догматики. Толкователи лишь множили толкования, но последнее слово принадлежало не им, а аппарату: именно чиновники решали, что есть ортодоксия, а что гетеродоксия, что канон, а что ересь, что от Бога, а что от дьявола. Можно, без всякой соли, предположить, что за боговдохновенностью текстов, собранных уже в середине XIX века аббатом Минем и образующих так называемую *Patrologia latina*, а равно и за богопротивностью текстов, сохранённых в цитатных клочках у поносивших их апологетов, стоял не сам Бог, а некто N.N. как Его самозванный и безымянный тестаментарий: то ли столоначальник, то ли нотариус, без заверения которого ни одно откровение Божье не имело бы ровно никаких шансов считаться подлинным и действительным. Старый топик деяний Бога, совершённых через франков (*Gesta Dei per Francos*), дублируется здесь деяниями Бога, совершёнными через клерков (*Gesta Dei per clericos*), причём если простодушных франков на деяния сподвигал сам Бог, то у смиренных и набожных клерков дело обстояло с точностью до наоборот, хотя сами они даже в дурном сне не признались бы себе в этом.

Не признались бы они себе и в том, что описанное у Оруэлла «мыслепреступление» берёт своё начало не в тоталитарных режимах XX века, а в раннем христианстве, которое, в свою очередь, переняло его из римского права. По сути, это всё тот же закон об оскорблении величества (*crimen laese maiestatis*), имевший силу, хотя и в различных импликациях понятия, как во времена Республики, так и в период

Сила и суть Римской церкви лежали не в экзегезе, а в умении выбирать единственно нужные толкования среди множества прочих и так, камень за камнем, выстраивать несокрушимую твердыню догматики



Империи. Если субъектом величества в республиканском Риме выступал народ и, соответственно, оскорбить величество значило оскорбить народ, то уже с Тиберия место народа занимает персона самого императора. В эдикте Феодосия от 10 января 381 года, узаконившем Никейский символ веры, субъект фигурирует уже не в прежнем телесно-зримом виде, как это и отвечало бы канону античной эйдетики, а в одухотворённо-абстрактном: носителем величества оказывается здесь уже не личностное, а понятийное: обязательная для христианского мира формула вероисповедания, оскорбить которую можно не иначе, как ересью и инакомыслием. Можно говорить о неслыханном во всех смыслах сдвиге сознания, если учесть, что ещё у Павла ересь не только была лишена всяких негативных коннотаций, но даже поощрялась («Ибо надлежит быть и разномыслиям (в оригинале – ересям. – К.С.) между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19), а Климент Александрийский всего за полтора столетия до Феодосия употреблял слово в его исконном значении: одной из множества школ (*Stromata* 7, 15). Значимость этого сдвига трудно переоценить. Наконец, придя в себя после долгих философских пиршеств, поняли, что грех – это не выходки и дурачества бунтующей телесности, а *reccatum intellectuale*, грех познания.

Идеи Платона, ставшие у Августина мыслями Бога, вдруг во мгновение ока потеряли свою беспризорность и ребячество и обнаружили такую смертельную серьёзность, что стоять перед ними с тех пор можно было не иначе, как навывтяжку, и с готовностью провалиться сквозь землю. Конечно, за преследованием инакомыслия таился страх перед мыслью, но ведь страхась мысли и запрещающая её, лишь признавали её значимость и исключительность. Никакой грех, никакая фривольность не могли тягаться с мыслью по степени опасности и риска; сред- ➔



В борделе. XV век

Никакой грех, никакая фривольность не могли тягаться с мыслью по степени опасности и риска; средневековый студент предавался блуду с не меньшим рвением, чем своим непосредственным занятиям

➔ не вековый студент предавался блуду с не меньшим рвением, чем своим непосредственным занятиям, о чём ещё в 1225 году сокрушался кардинал Жак де Витри: «В одном и том же доме верхний этаж занимали школы, а нижний бордели. Наверху магистры читали свои лекции, а внизу девки предлагали свои постыдные услуги». Это – сквозь пальцы и с грехом пополам – подлежало суровому порицанию; об отлучении или святом костре тут не могло быть и речи.

3

Наверное, при сопоставлении вещей интереснее, а главное, продуктивнее искать различие в случае сходства и сходство в случае различия. Скажем, сравнивая церкви, Католическую и Протестантскую. Не составляет труда увидеть их в точке разлома и противопоставленности. Гораздо труднее обнаружить в них признаки близости и родства – скажем, по образцу Шпенглера: «Учёный мир Запада сконструирован по образцу католической церк-

ви. Особенно в протестантских областях». Другим таким пунктом оказываются практики преследования инакомыслящих, успешно унаследованные протестантами у ненавистного им Рима. Наверное, тем и другим даже в голову не могло прийти, насколько они одинаковы на более глубоких уровнях восприятия. Известно, что последней каплей терпения Лютера стала усиленная продажа индульгенций, прейскурант которых украсил бы любой сатирический журнал. К примеру, в списке Тетцеля отпущение грехов шло по нисходящей: содомия 12 дукатов, ограбление церкви – 9, колдовство – 6, а отцеубийство и вообще за бесценно – 4. Можно было даже открыть депозит и уплатить за некоторые грехи вперёд, до их совершения. Что любопытно, так это то, что в перечне не нашлось места для ереси или даже просто безбожия. До такой креативности не додумался никто: отпустить ересь или безбожие за наличный расчёт или по предоплате. (Допустив, что в ценнике они стоя-

ли бы выше содомии.) Конечно, содомит или отцеубийца по степени опасности не шли ни в какое сравнение с инакомыслящим. Инакомыслие – всё равно, католическое или протестантское – было недопустимо вообще. В память и во исполнение старого языческого закона об оскорблении величества в христианской редакции: мысли, застывшей однажды в догме, как в гипсе, и грозящей отлучением и костром любому, кто осмелился бы помыслить её иначе. В остальном толерантность средневекового мира не знала границ. Блуд, пьянство, чревоугодие, все мыслимые и немыслимые извращения, скопированные, казалось бы, со страниц Боккаччо, Аретино и Рабле, воспринимались в фильтре смеха и остроты. Доставалось даже папам, да так, что лютеровское *des Teufels Sau, den Babst* («чёртова свинья папа») нисколько не выделялось на общем фоне obscenity. Нужно просто – наугад и навскидку – вспомнить несколько образчиков свинства, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что в этом королевстве подгнило уже не что-то, а всё: скажем, папу Юлия II, сифилитика и содомита, о котором Ульрих фон Гуттен сказал как-то, что он взял бы небо штурмом, если бы там наверху ему заперли дверь, или папу Льва X, о котором говори-



Лукас Кранах Старший.
Мартин Лютер. 1526 год

**Лютер восстановил церковь,
напав на неё; по существу,
протестантизм воспроизво-
дил старые католические
практики реконвалесценции**

ли, что он, проживи чуть дольше, продал бы Рим, Христа, себя и не оставил бы после себя даже суммы, достаточной для того, чтобы оплатить свечи на собственное погребение.

4

Против этого юмористического христианства с его абсолютно коррумпированным и потерявшим всякое чувство реальности Богом и восстала смертельная немецкая серьёзность. Ницше (а до него Якоб Буркхардт) вынес приговор: «Лютер видел порчу папства, в то время как налицо было противоположное: уже не старая порча, не *rescatum originale* (первородный грех, лат. – К.С.), не христианство восседало на папском престоле! Но жизнь! Но триумф жизни! Но великое Да всем высоким, прекрасным, дерзновенным видам!.. И Лютер снова *восстановил церковь*: он напал на неё...» То, что отпущение содомского греха за 12 дукатов могло оказаться триумфом жизни, едва ли укладывается в серьёзность. Даже в немецкую серьёзность. Но основная мысль проста и ясна: Лютер действительно восстановил церковь. Это было вывернутое наизнанку переживание Дамаска. Он услышал не: «Почто ты гонишь Меня?» – а: «Почему ты думаешь,

что Я гоню тебя?» Религиозный опыт Лютера, не сводимый ни к догме, ни к ереси, – это опыт свидетеля, перенесшегося вдруг из евангельской топики в блудный и душный Рим образца 1510 года и остолбеневшего от «мерзости запустения». Die feine gläubige Stadt ist zur Hure geworden («славный набожный город стал шлюхой») – это первое, что он мог выкрикнуть, придя в себя. Лютер восстановил церковь, напав на неё; по существу, протестантизм воспроизводил старые католические практики реконвалесценции – вроде клюнийской реформы, когда разлагавшийся институт монашества был спасён путём усиления аскетизма и целибата, или крестовых походов, обрызгавших полумёртвое христианство живой водой эзотерики, принесённой с Востока и оживившей его взрывами эйфории и энтузиазма. Поскольку ко времени Лютера запустение переросло в деформацию, оживление могло прийти не иначе как в форме протеста и бунта; Реформация, столь значительная и неповторимая в элементе негодования и возмущения, обнаружила все черты абсурдного вырождения,

стоило ей только переключиться с волны протеста на волну созидания. «Лютер, – резюмирует Гарнак, – подарил своей церкви христологию, которая по схоластической бессмыслице оставила далеко позади себя томистскую». В конце концов протестантизму, в чистом адекватном виде, суждено было прожить ровно столько, сколько продлился сам протест; по мере утихания протеста его деградация протекала в гораздо более уродливых формах, чем то, против чего он так неистово протестовал и с чем так страстно боролся. С ним случилось худшее, что вообще могло случиться с религией: он потерял свою религиозную идентичность (трансцендентность), так и не приобретя мирскую. Доточил себя до исчезновения и стал лихтенберговским ножом без рукоятки и с отсутствующим лезвием. Самоупражнение протестантизма – факт, с какого-то момента ставший необратимым: от Давида Фридриха Штрауса с его подогнанной под мещанский уровень и вкус «Жизнью Иисуса» до современного Бульмана, с таким же слепым рвением мифологизирующего науку, с каким он демифо- ➔

**Последней каплей терпения Лютера стала уси-
ленная продажа индульгенций, преискурнт
которых украсил бы любой сатирический жур-
нал. К примеру, в списке Тетцеля отпущение гре-
хов шло по нисходящей: содомия 12 дукатов,
ограбление церкви – 9, колдовство – 6, а отце-
убийство и вообще за бесценнок – 4**



Индульгенция. 1487 год

→ логизировал религию. Итог в 1921 году подвёл священник (священник!) Фридрих Гогартен: «Из всех самонадеянностей человека наиболее чудовищной является та, которую по обыкновению называют религией. Самонадеянность её в том, что она рассчитывает прийти к бесконечному от конечного, силами конечного, и хочет преодолеть абсолютную противоположность между Творцом и тварью силами твари».

5

Лютер снова восстановил церковь. Не новую, как ему казалось, протестантскую, а всё ту же, единственную, из которой он вышел и на которую напал. Он просто не смог убить её, а не убив, сделал её лишь сильнее. По сути, Реформация оказалась реанимацией: в грубом варианте – пощечиной, приведшей церковь в чувство, а в более учтивом – своего рода кардиостимулятором при острой сердечной недостаточности. Выше были уже отмечены случаи регенерации Римской церкви в периоды её опасного и чреватого столбняком расслабления. Просто случай Лютера, в отличие, скажем, от кланового движения, представлял собой не попытку взять себя в руки, а разрыв и отделение, в чем не было ничего удивительного, если учесть, что степень распада и разложения церкви к тому времени достигла максимальной отметки и только слепой мог рассчитывать на оживление этого нового Вавилона изнутри. Ситуация была хуже некуда: папский нунций Джироламо Алеандер сообщал из Вормса 8 февраля 1521 года, что девять десятых немцев скандируют «Лютер!», а оставшаяся десятая часть, хоть и равнодушна к Лютеру, но кричит: «Смерть римскому двору!» По-видимому, нужно было попасть именно в такой тупик, чтобы прийти в себя и притвориться непогибшим. Самое интересное: они наверняка даже не поняли, что же всё-таки произошло на самом деле. Лютер был для них не больше чем нечестивцем: неотёсанным и наглым немцем, посягнувшим на гуманизм и на радости жизни. Неотёсанность и наглость заключались в том, что он, попирая такт,



Антонио Фабрес. Бенедикт XV. 1916 год

Эмиль Людвиг в разговоре с Муссолини в 1932 году привёл слова, сказанные ему папой Бенедиктом XV после Первой мировой войны: «Это Лютер проиграл войну». После Ялты и Потсдама можно было бы добавить: «На этот раз окончательно»

приличие и здравый смысл, принял христианство всерьёз, то есть отнёсся к нему не так, как это водится среди цивилизованных людей, а по-мужицки. Простое соображение, что, оказавшись среди христопродавцев, он мог же ведь принять сторону Христа и читать историю Павла не как филолог и полигистор, а как очевидец, едва ли приходило в голову. Случай Лютера открывает, пожалуй, первую страницу в тяжёлой и длющейся по сей день истории одного конфликта: между немецким и западным (французским, английским) способом восприятия и понимания себя и мира. Нужно будет вспомнить череду непримиримых полемик: Бэкона с Парацельсом, Лейбница с Кларком, Гёте с Ньютоном, вплоть до позднего противостояния, запечатлённого Мёллером ван ден Бруком и Вернером Зомбартом в формуле «герои и торговцы», чтобы понять, что конфликт, начавшийся с духовного, должен был продолжиться в

прохоте пушек и ковровых бомбардировках. Впрочем, он и не продолжился, а с самого же начала протекал параллельно: на страницах книг и на полях сражений. Эмиль Людвиг в разговоре с Муссолини в 1932 году привёл слова, сказанные ему папой Бенедиктом XV после Первой мировой войны: «Это Лютер проиграл войну». После Ялты и Потсдама можно было бы добавить: «На этот раз окончательно». Удивительно, что борьбу против Лютера, начатую Римом, подхватили впоследствии сами протестанты, целясь уже не в частности вероисповедания, а в *суть*. Западный леволиберализм лишь перенял у католического консерватизма благородную задачу избавления

человечества от германской напасти. И если Леон Блуа, «пилигрим Абсолютного», писал в 1916 году, что «безнаказанность Германии была бы доказательством несуществования Бога», то ему с другого конца вторил либеральнейший Горацио Боттомли, основатель *Financial Times* и издатель журнала *John Bull*, требовавший уничтожения немцев, даже живущих в Англии и имеющих английское гражданство, потому что: «Вы не можете натурализовать противоестественный скот – человеческого недоноска – исчадие ада. Но вы можете истребить его».

6

Ещё раз: Реформация не убила Римскую церковь, но вынудила её лишь собраться с силами и тем самым продлила ей жизнь. Ответом на виттенбергский молоток стала тотальная мобилизация католицизма под знаком решительной перестройки и переформатирования. Можно было бы, не без крупинки соли, сказать, что если Реформация и удалась, то как раз в том, что она сохранила то, что силилась уничтожить. Реформированной оказалась сама Римская церковь – под девизом и знаменем Контрреформации. По меткому сравнению одного старого немецкого автора, протестантизм преобразил прежний беспечный деспотизм Католической церкви в деспотизм недоверчивый. Тридентский собор очистил больной организм от шлаков сотен и сотен

лет, а главное: церковь снова стала собранной, серьёзной, похожей на себя, опасной, прежней. Вдруг мигом сдуло ренессансную ветреность и ребяческую игру в древности и повеяло затхлым духом былой аутентичности. Наверное, в сердце отцов-основателей Контрреформации стучался пепел ещё недавно сожжённого их предшественниками во Флоренции Савонаролы, хотя Игнатий Лойола запретил даже упоминание этого имени. Нужно было восстанавливать церковь, не критикуя её, а запрещая всякую критику. С 1554 года действует цензура – индекс запрещённых книг, куда вошли сочинения не только ненавистных протестантских авторов, но и, среди прочего, Данте, Петрарки, Боккаччо, Лоренцо Валлы, Николая Кузанского, Эразма. Тогда же запрещается изображение нагих тел. Папа Пий V велит какому-то художнику облачить в одежду фигуры Сикстинской капеллы. Престарелый Бартоломео Амманати осуждает безнравственность своих скульптур; Орландо ди Лассо в старости сокрушается о непристойности своих обценных контрафактур и завершает жизненный путь покаянным циклом *Lagrima di San Pietro* с посвящением папе Клементу VIII – «в знак моего особенного почтения» (*per mia particolare devotione*); Тассо после 1581 года собственноручно передает инквизиции свою поэму и просит о цензуре. Но главное и решающее событие: в 1540 году, за несколько лет до собора, официально утверждается возникший незадолго до этого орден иезуитов (некий аналог *deep state* в структуре церкви), который с такой свирепой энергичностью берётся за дело, что Тридентский собор, топчущийся на месте в бесплодных спорах, уже в скором времени поражает решительностью и непримиримостью поставленных задач. Переход от ренессансной телесности к барочной пневматике в шуме и ярости религиозных войн и избиений разыгрывался как рокировка жаждавших – чувственной и сверхчувственной. Если Ренессанс стирал всякую грань между язычеством и христианством – так что, к примеру, Никколо Пизано мог слегка отретушировать античное изображение Диониса, чтобы включить его в ком-



Питер-Пауль Рубенс. Чудеса святого Игнатия Лойолы. 1618–1619 годы

Главное и решающее событие тотальной мобилизации католицизма: в 1540 году, за несколько лет до собора, официально утверждается возникший незадолго до этого орден иезуитов, который с такой свирепой энергичностью берётся за дело, что Тридентский собор, топчущийся на месте в бесплодных спорах, уже в скором времени поражает решительностью и непримиримостью поставленных задач

позицию «Поклонения волхвов» в Пизанском баптистерии, а для ино-го учёного монаха обычным делом было зажигать лампаду Божьей Матери под бюстом Платона, – то барокко стало Ренессансом католицизма, центр тяжести которого соответственно переместился из язычески скомпрометированной Италии в более резистентную

Испанию – ту самую, о которой Эмиль Чоран обронил однажды запоминающееся слово: «Будь Бог циклопом, его глазом была бы Испания». Конечно, силой, волей и душой перехода был иезуитизм, в котором Католическая церковь обрела своё второе дыхание, свой эликсир молодости, свой портрет Дориана Грея, вбирающий в себя ➔



Фриц Айхенберг. Иллюстрация к «Великому инквизитору» Федора Достоевского

Потребовалась организующая сила, потребовался аппарат, каковым и стали церкви, сначала каждая по себе, а позже все под одной, Римской, которая единственно и решала, что правильно, а что нет, – причём не только за паству, которой надлежало правильно верить в Бога, но и за Бога, который и Сам должен был быть правильным, чтобы можно было правильно же в Него верить

→ все грехи и безобразия остающегося подозрительно невинным оригинала. Католицизм в иезуитизме был не только заспиртован и сохранён, но и стал вездесущим, всюдным, глобальным, буквально кафоличным, как бы во исполнение слов корнелевского Сертория: «Рим больше не в Риме, он всюду

там, где я» (Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis). Отныне Римская церковь была там, где были иезуиты, а иезуиты были всюду, зримо и незримо, в исповедальнях и на университетских кафедрах, в кулуарах власти и на круглых столах, среди парижских интеллектуалов и у дикарей

Тасмании: проповедники, философы, миссионеры, мистики, военные, стратеги, тактики, учителя, естествоиспытатели, советники, духовники, утешители, подстрекатели, отравители, шахиды, гуманисты, злодеи, ангелы, демоны, черти – на все случаи жизни. Цель была: охранение и сохранение церкви, и цель оправдывала средства. Или, как элегантно выразился однажды историк церкви (и друг Ницше) Франц Овербек: «Не то чтобы господство сатаны вступило в силу с иезуитов, но и не так, чтобы они были совсем невинны в том, что о них могли так думать». Просто они ради Бога продавали душу дьяволу, по сути, покупали дьявола, чтобы он служил Богу. Беда в том, что охраняемым и сохраняемым был мертвец, как мертвецом был и сам охранник (*perinde ac cadaver* – «будь послушен, как труп», орденовских установлений), – тот и другой в знаке неслышанных слов: «Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов».

7

Готфрид Бенн в одном письме 1948 года корректирует тему «Заката Европы»: «Гибель Запада лежит не в его духовной слабости, которую можно повсюду наблюдать, а в собачьем пресмыкательстве его интеллигенции перед политическими целесообразностями». Можно добавить, что гибели Запада предшествует гибель христианства, *finis christianismi*. Имя и причина этой гибели – социализация и политизация мистерии через сведение вертикальной глубины человеческого в одномерность бюргерского и буржуазного. Наверное, самые ранние симптомы этого заметны уже в Деяниях апостолов, когда осенённые Святым Духом ловцы душ разошлись по миру, проповедуя благую весть. Механизм политизации прост как запертая дверь. Нужно лишь не искать её там, где её нет и не может быть. А нет и не может быть её в главном. Если – в память о бессмертном авторе «Краткой повести об антихристе» – знать, что главное в христианстве не христианство, а Христос. История христианства – всего целиком, за редкими и редкой силы исключениями, – история растянувшегося на тысячелетия гефсиманского сна, в котором лунатиче-

ские сновидцы страстно и страдальчески просыпают тайну своего первородства. Важно понять: настоящее начало христианства, то, в чём оно всегда остаётся настоящим и никогда не становится прошедшим и прошлым, – это момент, когда нет ещё никакого христианства, а есть единственно *факт, событие, мистерия* одного неспящего человека, пришедшего к спящим и заповедовавшего им не спать. (Паскаль говорит о длящейся до конца мира агонии Иисуса и о том, что нельзя всё это время спать.) Когда потом очнувшиеся на мгновение и осознавшие случившееся апостолы вынесли мистирию в пространство публичности, это стало началом христианства в собственном смысле слова. Начало христианства – начало христианского движения, расходящегося как круги по воде. Чтобы движение не приняло аморфный и хаотичный характер, потребовалась организующая сила, потребовался *аппарат*, каковым и стали церкви, сначала каждая по себе, а позже все под одной, Римской, которая единственно и решала, что правильно, а что нет, – причём не только за паству, которой надлежало правильно верить в Бога, но и за Бога, который и Сам должен был быть правильным, чтобы можно было правильно же в Него верить. Как раз это и объяснял Великий инквизитор своему загадочному и молчаливому пленнику, который, по-видимому, оттого и молчал, что ему нечего было возразить на услышанное, а нечего было возразить оттого, что он был не Тот, каковым его восприняло помрачённое сознание Ивана Карамазова. Помрачённое до того, что ответом на страшные и смертоносные аргументы инквизитора стал опереточный поцелуй в уста, после чего пленнику было указано на дверь. «Ступай и не приходи более... никогда, никогда!» – «Пленник уходит». (Так, в переводе на русский, *Gott ist tot* («Бог мёртв»)) Ницше и *Dieu se retire* («Бог удаляется на покой») Леона Блуа.) Потому что некоему мастеру порчи и мировому мерзавцу удалось уткнуть мистирию смысла, начавшуюся с: «Вот, Я делаю всё



Допустимо всё что угодно, даже безбожие, если оно «нужно», а «нужно» оно там, где с его помощью легче и быстрее достигают «нужного». Сент-Бёв (на фото) выразительно охарактеризовал ситуацию, сказав, что «можно быть очень хорошим католиком и в то же время едва ли христианином»

новым», в знакомый до боли акцент: «Кадры решают всё».

8

Абсолютный (свободно по Кьеркегору) парадокс христианства: невозможность христианской политики на фоне безудержно политизируемого христианства. Это даже не противоречие в определении, а просто невозможность априори, допустив, что нелепее христианского политика мог бы оказаться разве что христианский физик или, скажем, христианский хирург. Шефам христианского протокола заблагорассудилось сузить круг возможностей своего Бога до неприлично немногих точек приложения, вроде поэзии, музыки, живописи, архитектуры или армии спасения; в остальном располагал уже не Он, а Его умудрённые житейским и прочим опытом ньюсмейкеры и спичрайтеры. Один иезуит-математик признался другу Галилея во время суда над последним, что, сохрани тот с ними, с

отцами-иезуитами, добрые отношения, он жил бы в славе и осыпанный почестями и писал бы что вздумается, даже о вращении Земли. Тридцатью тремя годами раньше это могло бы быть сказано и о Джордано Бруно – правда, с небольшой поправкой: вместо «жил бы в славе» просто «остался бы в живых». Назвать это цинизмом значило бы ломиться в открытую дверь; точнее было бы говорить о политике, в силовом поле которой решают уже не догмы и не ереси, а «*добрые отношения*». Догмы и ереси в политическом дискурсе христианства функциональны, а не субстанциальны, и описываются как зависимые переменные от заданных значений. Допустимо

всё что угодно, даже безбожие, если оно «нужно», а «нужно» оно там, где с его помощью легче и быстрее достигают «нужного». Сент-Бёв выразительно охарактеризовал ситуацию, сказав, что «можно быть очень хорошим католиком и в то же время едва ли христианином», а Шарль Моррас сжал её до чеканной формулы: «Я атеист, но я католик». Нет сомнений, что эта релятивизация понятий столь же невозможна в абсолютном элементе религиозного, сколь она единственно возможна и даже неизбежна в абсолютном элементе политического. Политика растворила в себе религию по той же схеме, по какой логическая форма мысли в схоластике растворила в себе содержание мысли (предмет). Отточив мыслительный аппарат до совершенства, залюбовались им до умопомрачения. То же повторилось впоследствии и в естествознании, так и не осознавшем, до какой степени оно воспроизводит теологическую структуру в самом своём – классическом ли, релятивистском или квантовом – существовании. Подобно тому как физика, вместо того чтобы исследовать природу, сама занимает место природы, так и религия вытесняет Бога своими понятиями и представлениями, выдавая их за самого Бога. Карл Баллмер сказал об этом в простых и предостерегающих словах: «Человечеству грозит опасность легко выжить из ума на чахлах мифе о Боге. Оно разучилось общению с *Богам*. Боги не обыватели. Есть респектабельные Боги, которые не ➔



Караваджо. Обращение на пути в Дамаск. 1600-1601 годы

Главное верить в Бога – всё равно, есть ли Он или Его нет. Это и обеспечивала во все времена церковь, не видя собственной палки о двух концах, на одном из которых миром управлял Бог, а на другом Богом управляла церковь. Когда, наконец, немногие, трезвые и ответственные, спохватились и забили тревогу, выяснилось, что решение всё-таки есть.

Правда, единственное и к тому же невозможное.

Идя в Дамаск, прийти в Каноссу

→ придают никакого значения тому, католики ли они или протестанты. Дистанция между Богами <...> и христианскими обывателями больше, чем себе представляют. Дистанция между Богом и бюргером в любом случае больше, чем себе представляют». Особенно, если представляющий не просто бюргер, а ещё и философ или теолог кантовского изготовления, для которого Бог – это частный случай вещи в себе, а вещь в себе – полезная и целесообразная фикция, в которую лучше (полезнее) верить, чем не верить. Советовал же оккультный психотерапевт Юнг своим неверующим пациентам верить в Бога, чтобы не заболеть. В кантовской редакции: чтобы быть моральными.

Мы моральны не потому, что верим в Бога, но мы верим в Бога, потому что мы моральны. Или иначе: мы верим в Бога не потому, что Он есть, но Он есть, потому что мы в Него верим. Главное верить в Бога – всё равно, есть ли Он или Его нет. Это и обеспечивала во все времена церковь, не видя собственной палки о двух концах, на одном из которых миром управлял Бог, а на другом Богом управляла церковь. Когда, наконец, немногие, трезвые и ответственные, спохватились и забили тревогу, выяснилось, что решение всё-таки есть. Правда, единственное и к тому же невозможное. Идя в Дамаск, прийти в Каноссу. Деполитизировать себя, чтобы увидеть себя, говоря языком феноменологии, в

своей допредикативной очевидности, в том, что было (есть!) до всякой церкви и с чего сама она началась однажды. Говоря прямее: если началом исторического и загнавшего себя в тупик христианства была невозможность (тертуллиановское *certum est quia impossibile est* – «это несомненно, ибо это невозможно»), то стать христианином (по Гёте: «каким его хотел бы иметь Христос») можно – во все времена и поверх всех конфессий и кадров – не иначе как входя в невозможное и живя в невозможном. Парадокс христианства: начавшись с невозможного, оно только и делало, что приспособлялось к возможному, пока, в конце концов и с другого конца, не попало в невозможное, только уже не в прежнее (тертуллиановское, изначальное и несомненное) невозможное, а в самое обыкновенное и банальное, называемое тупиком. Потому что если деполитизация христианства (как возвращение к началу, или факту, событию, мистерии Христа) вообще возможна, то уже не на фоне *sola fide* («только верою») и паскалевского «безумия креста», а в элементе абсолютно трезвого сознания и знания, от которого во все времена предостерегали отцы, понеже знание о Боге невозможно либо от дьявола. Даже Карлу Барту, этому последнему великому учителю церкви, уже в наши дни понадобилось исписать девять тысяч страниц «Церковной догматики», чтобы поведать, что *знать о Боге может только сам Бог*. Ставрогин у Достоевского ухитрился уместить эту многословную догматику в одном-единственном «подлом выражении»: «Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца; чтобы уверовать в Бога, надо Бога». Подлое выражение провоцирует более подлый вопрос: как сделать соус из зайца, которого невозможно поймать? Или проще: которого нет. Чтобы избежать ответа на этот вопрос, каковым мог бы быть только никакой ответ, христианство предпочло воздавать Богу не покрытое мраком неизвестности Божье, а хорошо известное и могущественное кесарево – в преддверии будущих бунтов, свержений с тронов и насаженных на пики голов. ■

Базель, 17 марта 2017 года